

ТЕНЬ БОГА



АНАСТАСИЯ БАЛУТА

18+

Анастасия Балута

ТЕНЬ БОГА

«Автор»

2026

Балута А.

ТЕНЬ БОГА / А. Балута — «Автор», 2026

82 год от Рождества Христова. Рим под пятой Домициана, провозгласившего себя «господином и богом». Палатинский холм плетёт интриги, в Субуре молятся первые христиане, а по границам Империи натянуты легионы. Марк Кассий Витул, центурион, прибывает в Рим по скучному делу и на рынке защищает чужестранку — Анастасию, чья вера может стоить ей жизни. Взгляд - и чувства вспыхивают, как искра в пороховом погребе. Но за Марком тянется иная тень — тайна его происхождения. В его жилах течёт кровь Флавиев, и этот факт превращает солдата в разменную монету в большой игре. Тайный советник императора, Гай Аквиллий Нигер, начинает охоту, где ставка — жизнь Марка и душа Анастасии. От душных улиц Рима до туманных рубежей Британии, от тайных собраний до метафизических поединков в сердце тьмы — их любовь станет щитом против мира, где боги требуют поклонения, а древнее зло — самой судьбы. «Тень Бога» — историко-философский роман с элементами мистики, где частная жизнь становится полем битвы за вечность.

© Балута А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ	5
Глава 1	8
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Анастасия Балута

ТЕНЬ БОГА

ПРОЛОГ

Посвящается

Андрею Михайловичу Сморгачеву —
моему Учителю, который открыл мне Рим...

...и Марку.

Тому, кто был, есть и будет.

Воин в прежней жизни. Воин в этой.

Он ушёл, когда мне было семнадцать.

Но остался — в каждом шаге по античным камням,
в каждом слове, в каждом ударе сердца этого романа.

Мы встретились с ним заново — здесь, между строк.

И придумали эту историю вместе.

О любви, которая сильнее смерти.

О верности, которую не сломать.

О воине, который не уходит навсегда.

Пролог

**Кабинет Гая Аквиллия Нигра, Палатин, Рим. Лето 82 года
от Рождества Христова.**

Воздух в кабинете был прохладен и сух. Пах он чем-то неживым, как может пахнуть теплая пыль давно забытого всеми склепа, куда случайно проник единственный лучик солнца и там за несколько часов самозабвенно пытался согреть все то, что веками оставалось холодным. И эта мертвая теплая сушь представляла собой полный контраст с вязким, дымным зноем, висевшим над Городом. Потому что зной последнего летнего месяца Рима был влажным, смрадным, тяжелым, но живым.

. Гай Аквиллий Нигер, теневая правая рука Домициана, человек, чья власть зиждилась не на легионах, а на контроле над информацией и страхом самого императора, стоял у окна, спиной к комнате, где царил безупречный, мёртвый порядок. Не статуэтки богов украшали его стол, а инструменты власти: заострённые стили, рулоны пергамента и абак — счётная доска, его верная собеседница. На ней лежали несколько гладких, отполированных пальцами галек — калькули. И у всех этих предметов, окружавших человека, давно превратившегося в хорошо отлаженный механизм, как и у всего неживого, не было голоса. Камешки-калькули не звенели, соприкасаясь друг с другом и с иными предметами. Они сухо и мертво щёлкали. Тихий, методичный звук мыслительного процесса.

Нигер смотрел на Рим, раскинувшийся в багровой дымке заката, и не видел Вечного Города. Он видел свое отражение - механизм. Сложный, громоздкий, вечно грозящий заклинить где-нибудь в провинции или в сточной канаве Субуры. Дым из тысяч очагов был не признаком жизни, а индикатором работы этого механизма. Гул — не музыкой толпы, а предсказуемым шумом системы.

Империя не имеет души, — думал он, перекатывая гальку в ладони. У неё есть баланс. Приход и расход. Домициан Его тонкие губы чуть дрогнули. Домициан не император. Он — самая дорогая, самая капризная и непредсказуемая деталь в этой конструкции. Моя задача — смазывать её, подтягивать. Не дать сорваться с оси и не разнести всё вдребезги.

Он отвернулся от окна. Его взгляд, светло-серый, почти бесцветный, как зимний лед на Тибре, скользнул по аккуратной стопке донесений на краю стола. Слухи. Вечные слухи. Они текли в Рим со всех концов света, как гной из нарыва: о потомках Юлиев, о выживших родственниках Гальбы И, конечно, о Флавиях. Не о тех, что на троне. О других. О побочных ветвях. О внебрачных детях его же отца, Веспасиана. О дальних родичах обожествлённого брата, Тита. О Тенях.

Домициан, требовавший, чтобы его называли «Господином и Богом», боялся не заговор сенаторов. Сенаторов можно было купить, запугать, убить. Он боялся, что кто-то может оспорить его личное право быть единственным Господином и Богом этого Города и всей его Империи. Боялся до дрожи в пальцах, что где-то есть человек, в чьих жилах — без его дозволения — течёт та же кровь Флавиев, которая текла в нем, в его отце и в его сиятельном брате. И этот простой факт ставил под вопрос его исключительное право и бросал тень на его божественное солнцеподобие. Потому каждую такую тень следовало найти и стереть. Уже стёрли немало.

Одного дальнего родственника — по надуманному обвинению в «преступном легкомыслии». Другого — утопили в неизвестности архивов. Кого-то — сослали в дырявую крепость на Дунае.

Глупо, — холодно констатировал ум Нигера. Уничтожать надо причины, а не болезнь. Болезнь — его собственный страх, его ненасытная жажда быть единственным и непогрешимым. Но лечить её не в моей власти. Только управлять.

И именно управление этим страхом было истинным источником его силы. Он поставлял императору врагов — отточенных, убедительных, но, как правило, безопасных для каркаса империи. А иногда иногда он задерживал информацию. Слух о каком-нибудь безумном ветеране в глухой провинции, бормочущем о родстве с Веспасианом. Пыль. Но если вовремя не доложить, а потом, в критический момент, «героически раскрыть» мнимый заговор — это укрепляло его позиции как ничто иное. Страх Домициана был для Нигера не проблемой, а ресурсом. Самой стабильной валютой в империи.

Его пальцы сомкнулись вокруг гальки. Щёлк. Звук окончательного решения, мысленного арифметического итога.

Физически существующие конкуренты — переменная, которую можно вычислить и устранить. А вот призраки в голове повелителя их не уничтожить. Их можно только бесконечно кормить, чтобы они не обратились против тебя самого.

Он подошёл к столу. Его тога, простая и безупречно белая с узкой пурпурной полосой всадника, не шелохнулась. Руки, чистые, с коротко остриженными ногтями, легли на дерево.

Его взгляд упал на самый свежий свиток в стопке. Кожаный футляр, запylённый от дальней дороги. Но не с Рейна. С Дуная. Печать, вдавленная в тёмный воск, была не легионным орлом. Это был отпечаток перстня-щита: в центре — рельефный шлем, а по окружности — лаконичная надпись, читаемая лишь при определённом свете: L VII C P F. Седьмой Клавдиев, Верный и Преданный. Легион, чей орел стережёт дунайские переправы. И ниже, мельче, выдвлено одно слово: EX ACTIS. Из архивов.

Свиток прибыл не из чужой, рейнской твердыни. Он прибыл из самого сердца владений легиона — из Лауриака. Главной крепости на Дунае, где десятилетиями копились рапорты, списки потерь и личные дела солдат. Кто-то там, в тишине каменных скрипториев, вороша старые папки, наткнулся на пыльную деревянную табличку и понял, что в руки ему попал не на мусор, а тихий, забытый всеми подземный ключ.

Нигер развязал шнурок и развернул пергамент. Текст был краток: донесение агента, внедрённого в канцелярию легата. Суть: при ревизии обнаружена личная вощёная табличка покойного центуриона Сатурнина. На ней — предсмертное письмо. Прилагается копия текста. Оригинал, дабы не привлекать внимания, оставлен в архиве Лауриака, упакован в кожаный чехол и снабжён меткой, известной лишь агенту. «Ожидаю указаний о его изъятии или уничтожении».

Нижняя часть пергамента была аккуратно отрезана — на ней, неуклюжим почерком переписчика, был воспроизведён тот самый текст с воска. Нигер пробежал его глазами. Уголок губ дрогнул. «Сын легионера и внук флавиевского вольноотпущенника... Идеально».

Он не стал его разворачивать. Не сейчас. Он взял самую тяжёлую, самую гладкую гальку с абака и положил её сверху на свиток, прижимая кожу к дереву. Чтобы не свернулся и не улетел.

Щёлк.

Пусть полежит. Всё в этом мире имеет свой срок. И свою цену. И свою тень. А эта тень теперь имела не только имя, но и материальное доказательство, запёртое в каменной кладовой за тысячу миль. И человека по имени Марк, который пока ещё даже не подозревал, что его судьба, его кровь и его тайна уже внесены в каталог под отдельным номером. Оригинал ждал в архиве.

Копия лежала здесь, под холодным камнем расчёта, ожидая решения главного архиварийуса Империи.

Глава 1

Глава первая

Солдат Империи

На закате даже камни стонали от жары. Тит, мальчишка-водонос, прижавшись спиной к чуть теплому боку колодца у Порта-Капены, смотрел, как над выжженной равниной вздымается марево. Воздух гудел от зноя, густого, как оливковое масло на дне кувшина. На обочине дороги лежала собака, вытянув длинный розовый язык, и даже мухи на ней ленились, еле двигая лапками и стараясь поглубже засунуть головы в короткую, липкую от вонючей влаги шерсть. Последние путники — группа купцов с ослами — волоклись к воротам, обливаясь потом, лица у них были серые, как грязная штукатурка. Тит зевнул. Идиоты. Кто едет в Рим в такую пору? Только те, кому очень надо. Или те, кому всё равно.

Тень на дороге отделилась от кучки купцов и двинулась к воротам ровным, упругим шагом. Одинокая ровная тень. Тит прищурился. Сначала он увидел только силуэт: высокий, поджарый, без лишней тяжести в плечах. Он шёл не как все — не волоча ноги и не вышагивая важно, а как-то по-другому. Словно расстояние для него было не препятствием, а привычным делом, которое нужно просто сделать. Тит выпрямился, сбрасывая с себя лень. Интересно, это его клиент или нет?

Человек приблизился, и мальчик начал считать детали, как считал медяки в ладони. Плащ — выцветший до цвета дорожной пыли, но накинут ровно. Под ним — простая туника, подпоясанная так чётко, что ни одной лишней складки. На ногах — стоптанные, но крепко зашнурованные калуги. Солдатские. Из сумки на ремне выглядывала рукоять чего-то, завернутого в холстину. Не меч — слишком коротко. Нож, что ли?

И руки. Когда мужчина поправил ремень, Тит увидел его кисти. Крупные, с выпирающими костяшками, исцарапанные в мелких белых шрамах. А на внешней стороне правой ладони — странные, грубые ссадины, старые и вновь потрескавшиеся. Не от лопаты. Тит видел такие у лучника, который иногда ночевал у хозяина. Эти руки не копали и не таскали. Они что-то сжимали. Держали. Долго и крепко.

Мужчина подошёл совсем близко, и тут мальчик поднял глаза на его лицо. И сначала увидел не глаза, а шрам. Бледную, тонкую полосу, тянущуюся от скулы почти до подбородка, будто кто-то провёл по коже тупой стороной лезвия. Шрам был старый, но он не уродовал лицо, а лишь прочертил на нём чёткую, нестираемую границу между «до» и «после». И лишь потом Тит встретился с его взглядом.

Мужчина смотрел не на него. Он смотрел сквозь него, на ворота, на стражников, оценивая что-то своё. Глаза были светлые, но не голубые, а серые — холодные и прозрачные, как лёд в чане зимой. В них не было ни усталости от пути, ни раздражения от жары, ни любопытства к новому месту. Только ровное, спокойное внимание. Так смотрит кот, замерший перед прыжком на мышь, — без злобы, просто констатируя факт и рассчитывая траекторию.

От этого безразличного, ясного взгляда по спине Тита пробежал холодок, несмотря на духоту. Он неосознанно отодвинулся, прижавшись к шершавому камню колодца. Он не крикнул: «Воды, господин!». Не потянулся с ковшом. Инстинкт, выточенный на улицах, прошептал ему: «Этот не заплатит. Этому не надо. И лучше бы все проходили так же молча».

Мужчина прошёл мимо, не обернувшись. У самых ворот он, не замедляя шага, вынул из-за пазухи деревянную дощечку и молча поднял её на уровень лица. Стражник, усталый и потный, в потёртых доспехах, бросил взгляд на табличку, потом — в эти серые глаза. Что-то он в них прочёл. Он не стал протягивать руку, не стал задавать вопросов. Он просто кивнул, коротко и уважительно, и посторонился.

Незнакомец шагнул под свод ворот и растворился в густеющей синей тени, ведущей в грохочущее чрево Рима.

Тит выдохнул, только теперь поняв, что задержал воздух. Он посмотрел на свои ладони — мелкие, грязные, без единого шрама. Потом снова туда, где только что стоял тот мужчина. И вдруг, яростно, потёр рукавом лицо, смахнув пот и непонятный стыд. Ему дико, до боли в горле, захотелось, чтобы когда-нибудь — через много лет — его собственные руки стали такими же. Значительными. Спокойными. Чтобы и на него смотрели не сверху вниз, а так — молча, отводя глаза.

А Рим жил своей обычной жизнью, невзирая на жару. Как огромный, сытый после недавней удачной охоты зверь, растянувшийся на семи холмах. Он лениво переваривал добычу, и шевеление у его ворот — появление очередного путника — было для него не больше, чем лёгким щекотанием в боку. Зверь даже не открывал глаз. Он лишь чуть изменил ритм дыхания, и этот новый ритм встретил Марка, едва тот шагнул из ослепительного света заката под сырой, прохладный свод ворот Порта-Капена.

Гул, который снаружи казался единым рокотом, здесь, в каменной глотке, расслоился на голоса. Крики разносчиков, ржание ослов, скрип телег, брань погонщиков, плач ребёнка, взрыв хохота из таверны — всё это сливалось в оглушительную, густую кашу звука. И запах. Не просто вонь. Целая иерархия воней: едкий дым чадающих светильников, сладковатая прель гниющих овощей, тяжёлый дух человеческого пота и мочи из сточной канавы, и поверх всего — пряный, навязчивый аромат жареного мяса и лепёшек, который заставлял слюну бежать даже сквозь усталость. Марк сделал глубокий вдох, втягивая этот воздух, как вдыхают запах родного лагеря. Пахло цивилизацией. Пахло Римом.

Его заметили, но не увидели. Стражник у внутренней стороны ворот, тот самый бородастый детина, перебросился репликой с напарником, старым служакой с лицом, как у сушёной груши:

— Ещё один с Дуная?

— По походке видно, — буркнул старый, не глядя на Марка, сплёвывая в канаву. — Все как на подбор. Угрюмые.

Марк прошёл мимо, не меняя шага. Ярлык был навешен точно: угрюмый с Дуная. Он был здесь не личностью, а типом. Деталью пейзажа.

Он двинулся по переулку, ведущему к Субуре, растворяясь в толпе. Его плечо задело плечо какого-то писца, тот буркнул что-то недовольное, но, встретившись взглядом с серыми, ничего не выражающими глазами, поспешно отвёл свой. Рядом прошёл ортяд преторианцев — человек десять-двенадцать, не строем, а такой разваливающейся, уверенной в себе гурьбой. Их начищенные до зеркального блеска доспехи резали глаз после выцветших полевых плащей. Один из них, молодой центурион с холёным лицом, скользнул взглядом по Марку, по его стоптанным калигам, по простому ремню, и чуть кивнул. Не приветственно. Скорее, как хозяин, милостиво признающий присутствие чужой, но полезной собаки. Марк в ответ лишь слегка опустил подбородок — ровно настолько, чтобы это не сочли вызовом, но так, чтобы не выглядело подбострастием. Иерархия была соблюдена.

Вокруг царило странное, нервное оживление. Не праздник, а его суррогат. На перекрёстке раб на трясущейся лестнице вешал на статую Домициана гирлянду из увядающих цветов. Мраморный взгляд «господина и бога» был устремлён в небеса с таким напыщенным величием, что казался карикатурой. У подножия постамента, в луже из помоев и объедков, копошился нищий. Грязная тряпка не скрывала культя, где когда-то была кисть руки. Отрублена за воровство, подумал Марк без эмоций. Или за что-то ещё.

Рим изменился. Изменился с тех пор, как год назад на престол взойшёл младший сын Веспасиана. В воздухе висело нечто большее, чем запах и шум. Висел страх. Он проступал в мелочах. В том, как двое всадников в белоснежных, но не по-летнему тяжёлых тогах, о чём-то

оживлённо беседовавшие, вдруг резко умолкали, заметив приближающийся патруль городской стражи. В том, как неестественно громкий смех из-за дверей харчевни обрывался на полуслове, словно его перерезали ножом. И в том, что было самым красноречивым: следы.

Марк видел их профессиональным взглядом разведчика. На стене кирпичного дома – свежее, кричаще-белое пятно извести, замазавшее какую-то надпись. На углу форума – пустой гранитный пьедестал. Статую кого-то из знати снесли недавно, камень ещё не успел покрыться городской копотью. Где-то здесь, в двух шагах от храма Весты, могла валяться в пыли отрубленная голова какого-нибудь сенатора, обвинённого в «оскорблении величества». Или не валяться – казни могли быть и менее публичными, но от этого не менее известными. «При Тите было иначе», – промелькнуло у него в голове сухой, отстранённой мыслью. Он не тосковал по прошлому императору. Он просто констатировал факт, как констатировал бы смену направления ветра или появление новых укреплений у варваров. Оперативная обстановка изменилась. Город, который он должен был считать сердцем империи, её оплотом, теперь больше напоминал взведённую ловушку. Величественную, мраморную, но ловушку.

Он дошёл до лотка с лепёшками, вытащил из кожаного мешочка мелкую монету. Торговец, жилистый сириец, молча протянул ему плоский, тёплый комок теста, пахнувший тмином. Марк откусил, почувствовав на губах грубую соль, и двинулся дальше, вглубь сумеречной улочки.

Через два десятка шагов его уже нельзя было отличить от других одиноких фигур в поношенных плащах. Рим принял его. Не как гостя. Как ещё одну крупницу в своём песчаном брюхе, как ещё один камешек, что несёт в себе река. Зверь на холмах, казалось, наконец пошевелился, зевнул, и грохот тысячеголосой жизни стал его ровным, всепоглощающим дыханием.

И в этом дыхании окончательно потонули отдельные звуки: и скрип его калиг по камню, и звон оставшихся монет в кошельке, и даже мерный, неспешный стук его сердца, что билось теперь в такт этому древнему, жадному, безумному городу. Городу, в который он пришёл на пару дней по делам своей службы и который уже начинал диктовать ему свои правила. И правила эти позволено было ненавидеть, но бороться с ними было нельзя.

Осталось сделать последнее сегодня: найти ночлег. А потом – рынок. Тунику купить.

Марк

Имя: Марк Кассий Витул. Звание: центурион VII Клавдиева легиона. Задание: доставить в канцелярию прокураторов (*officium procuratorum*) на Форуме отчёт легата, клятвенные списки новобранцев и денежный сбор — *aureum tironicum* для пополнения фиска. Статус: выполняется.

Очередь в казначействе двигалась со скоростью обоза, застрявшего в грязи. Я стоял, прислонившись к прохладному мрамору колонны, и чувствовал, как под грубой шерстью туники на левом боку ноет старый шрам — длинный, аккуратный след от германской секиры. Не боль, а напоминание. Тихий голос тела, твердящий: тебе тридцать два, Кассий. Ты ещё цел, но уже не нов.

Семь лет центурионом. Десять — в легионе. Дунай, где лёд сковывал кровь по утрам. Рейн, где туман скрывал засады хаттов. Иудея Иерусалим, пахнувший гарью, кровью и страхом. Я видел, как горят города и как замерзает кровь в жилах на зимних стоянках. А теперь я стоял здесь, в самом сердце Империи, которого никогда не понимал, с мешком монет и двумя свитками, как самый последний раб-гончар.

Ослиная работа, — беззвучно выругался я про себя, глядя, как толстый квесторский клерк с отвратительной неспешностью сверяет печати на каком-то другом документе. На тебя можно положиться, Кассий. Да, можно. На то, чтобы быть выючным животным.

Наконец, моя очередь. Я молча положил на стойку мешок с характерным звяканьем и два пергаментных свитка, туго перетянутых шнуром с оттиском легионной печати — кабан, осклизший над дунайской волной. Клерк, человек с бледным, лишённым солнца лицом, взве-

сил мешок на руке, покосился на печати, пробормотал что-то невнятное и кивнул. Ни слова благодарности. Ни взгляда. Я был для него не человеком, а функцией. Деталью механизма, который назывался «поступление средств из провинции». И на душе стало от этого даже легче. Чем меньше ты — личность, тем меньше к тебе вопросов.

Задание выполнено. Отчётность сдана. Теперь я принадлежал сам себе. На сутки.

Я вышел на Форум, и слепящее солнце ударило в глаза. Шум, который в переулках был оглушительным, здесь, на открытом пространстве, превратился в мощный, низкий гул — голос самого Рима. Я постоял мгновение, давая глазам привыкнуть, и потёр левое предплечье чуть выше запястья. Под кожей угадывались знакомые линии — стилизованные крылья и змеи кадуцея. Простая татуировка, какие делали себе фракийские наёмники, служившие с отцом. Клеймо, которое я, мальчишка, выцарапал себе иглой и сажей, подражая рассказу о том, как таким знаком метили отряды во времена Гражданских войн. Глупость молодости и тоски. Память об отце, о котором я почти ничего не знал, кроме того, что он был солдатом и погиб, когда Рим брал Иерусалим. Иногда мне казалось, что я набил её не для себя, а для него. Чтобы хоть как-то связать себя с той призрачной фигурой, чьё имя ношу.

План был прост, как утренний развод. Разбить на пункты и выполнять по порядку. Солдатская наука.

Пункт первый: ночлег. Не тратить легионные деньги на постоянные дворы для богатых чужеземцев, а остановиться у старого ветеринара Секста, в Субуре. Он лечил коня моего бывшего декана, а я как-то помог ему выбить долг с одного поставщика сена. Будет рад и не оберёт. Пункт второй: экипировка. Моя туника после долгой дороги выглядела так, будто в ней не просто потели, а умирали. Нужна новая, простая, гражданская. И обменять дунайские сестерции на римские, чтобы не вызывать лишних вопросов у торговцев.

Пункт третий: отложить. Тело, уставшее от дороги и напряжённой собранности, напоминало о себе не только ноющим шрамом. Там, под рёбрами, копилась знакомая, простая пустота. Мышечная тяжесть, которую не снимешь ни вином, ни отдыхом. После долгого похода, среди одних мужчин, это было нормой. Мысль мелькнула цинично и просто: «Найдётся какая-нибудь служанка в таверне Секста или та, что торгует собой у рынка возле фонтана. Лицо не важно. Важно, чтобы взяла монету и не заговорила. Просто женщина. Чтобы сбросить это. Чтобы на пару часов перестать быть центурионом Кассием, а стать просто телом. Потом — сон. А завтра — обратная дорога к своим. К порядку. К тишине, где всё понятно: друг, враг, приказ».

Я свернул с Священной дороги на Аргилет, короткий путь писцов и мелких торговцев. Здесь уже пахло не мраморной пылью и ладаном, а чернилами, пергаментом и затхлостью человеческих тел — неизменной спутницей долгой сидячей работы. Затем повернул в узкий переулок, ведущий в Субуру, и мир снова переменялся.

Воздух стал густым и вязким. Он неумолимой лавиной прорывался внутрь, погружая осязание в теплое гнилое болото, где смешались в жестокой какофонии и запах тухлой рыбы с ближайших лавок, и резкий дух чеснока, сладковатая вонь перезрелых фруктов, и, как навязчивый лейтмотив, всё тот же запах потной человечины, деловито копошащейся во чреве городского рынка. Я автоматически прижал руку к кожаному кошельку на поясе. Здесь, в этих каменных кишках города, нужно было держать ухо остро. Даже днём.

Я пробивался сквозь толчею, пробегая взглядом вывески и лица. Глаза искали лоток с одеждой. Мысли были заняты расчётом: цена туники, курс обмена, сколько останется на еду и на ту самую, смутную статью расходов под названием «пункт третий». Всё должно было уложиться в пару часов. Эффективность. Чёткость.

И вдруг мой взгляд, скользивший по прилавку со стоптанной обувью, поймал вспышку. Не серебра, не меди. Золота. Ярких, солнечных, живых волос. Они выделялись в этом серо-коричневом море грязи, как факел в пещере.

Остановился. Не специально. Просто замер на шаг.

Это была девушка. Гречанка, судя по чертам лица и простому, но чистому хитону. И её хватал за запястье здоровенный мужлан в заскорузлом, замасленном фартуке мясника. Его лицо было красно от злости, он что-то хрипло выкрикивал, брызгая слюной: «верни деньги, сука! Снадобье твоё — отрава!».

Но дело было не в нём. Дело было в ней.

Она не плакала. Не умоляла. Сопротивлялась. Её лицо, бледное от гнева, было обращено к нему, и в глазах горел не страх, а чистая, яростная непокорность. Она пыталась вырвать руку, и в этом движении была не беспомощность, а сила. Та самая сила, которую я видел у лучших своих солдат, загнанных в угол, но не сломленных. В её позе, в этом взгляде было что-то знакомое. Что-то, что резануло меня глубже, чем крики торговца.

Мозг выдал мгновенный, холодный анализ: «Не твоё дело. Чужие разборки. Местный скотник и какая-то девка. Вяжешься — будут проблемы. Шум, может, стража. Задержка. Внимание. Пункт плана — туника. Иди дальше».

Но тело, уставшее от приказов и планов, от долга и отчуждения, среагировало раньше. Ноги, прежде чем сознание отдало команду, сделали два резких, чётких шага вперёд. Я оказался рядом с ними. Так близко, что почувствовал тяжёлый дух дешёвого вина от мясника.

Мой голос прозвучал ровно, тихо, безо всякой угрозы. Но с той интонацией, которую не спутаешь — интонацией человека, привыкшего, что его слушают. Интонацией приказа.

— У тебя проблема с этой женщиной?

Мясник обернулся, его маленькие глазки свирепо уставились на меня. Он увидел поношенный плащ, стоптанные калиги, лицо со шрамом. Увидел и, должно быть, прочёл в моих глазах что-то, что заставило его хватку на запястье девушки чуть ослабнуть.

Всё. Точка невозврата пройдена. План на этот день рухнул. И я даже не мог понять ещё, что только что вступил на путь, с которого не будет обратной дороги.

Торговец, встретившись с моим взглядом, что-то буркнул себе под нос, его хватка ослабла. Он отступил на шаг к своему прилавку, откуда несло запахом старого жира и крови. Я повернулся к девушке, всё ещё на полусогнутых ногах, готовый в любой момент среагировать, если этот бык кинется снова.

И в этот момент я увидел её. По-настоящему.

Сначала — в целом. Невысокая. Не хрупкая, как те римские матроны, что томно возлежат на пирах. И не тощая служанка. Она была плотно сбита, как добротный полевой щит — тот, что не ломается от первого удара, а принимает его всей своей массой и стоит. И твёрдо опиралась на обе ноги, даже сейчас, после стычки. Это была не поза, а природная устойчивость.

Потом — детали. Она наклонилась, чтобы подобрать свой свёрток с травами, и её простой льняной хитон, слегка влажный от пота или от разлитой где-то воды, прилип к спине. Ткань обрисовала не изгибы статуи Афродиты, а реальную, живую форму: сильные, узкие плечи, собранные, как у лучника перед выстрелом, крепкую спину, которая явно знала не просто труд, а долгую сосредоточенную работу в одной позе — за столом у ступы или у ложа больного. И бедра. Не мягкие и округлые, а упругие, сбитые, как у гончара, что часами вращает круг. Под тонкой тканью угадывалась не просто плоть, а выносливость. Не изящество танцовщицы, а сила, собранная в себе. И от этого зрелища у меня в горле пересохло, а мысль о «пункте три» вспыхнула в мозгу не абстрактным желанием, а острым, почти болезненным уколом. Боги. Давно. Слишком давно.

Её волосы, выбившиеся из-под платка, были не греческого и не римского чёрного цвета. Они горели медным огнём, как листва осенью в галльских лесах. Непривычно. Дико. Красиво.

Она выпрямилась, повернулась ко мне, и я увидел её руки, сжимающие свёрток. Кисти были изящные, с длинными пальцами, но не беспомощные. На подушечках я заметил тонкие, светлые шрамы — от иглы или, может, от стилия. Руки труженицы и, возможно, мастера.

И тогда она подняла на меня глаза.

И всё остальное перестало иметь значение.

Это были не греческие глаза. Разрез был чуть раскосый, с тяжёлым, припухлым веком, будто в её роду водилась кровь каких-то далёких восточных народов — фригийцев, каппадокийцев, Плутон знает кого. И в этих глазах сейчас бушевала буря. Не страх. Не покорность. Ярость, унижение, гордость и — что самое странное — живой, острый, оценивающий ум. Она смотрела на меня не как спасённая жертва на спасителя. Она смотрела как равный. Как союзник в короткой стычке, которая только что закончилась. В её взгляде не было ни капли подострастия. Было изучение. И что-то дикое, несломленное, что заставило мою собственную спину непроизвольно выпрямиться, как перед начальником.

Её губы, полные и мягкие, были сжаты от недавней злости. Но теперь они дрогнули, смягчились. Она собралась говорить.

«Такая — пронеслось у меня в голове с кристальной, отрезвляющей ясностью. — Такая не согласится на отложенный пункт три. Не за сестерций. Не за все сестерции в мире. Она не из тех. Она другая».

— Благодарю Вас, — сказала она. Голос был ниже, чем я ожидал, слегка хрипловатый от недавнего крика, но чистый. — Он считает, что отвар моего отца не помог его свинье. Хотя свинья, уверяю Вас, сдохла от своего обжорства, а не от нашей полыни.

Я кивнул, всё ещё пытаюсь совладать с этим потоком впечатлений. Она не просто поблагодарила. Она сразу четко объяснила, в чём дело, добавила иронии и дала понять, что её отец — врач. Ум. Практический, острый ум.

— У тебя с ним всё улажено? — спросил я, глядя поверх её головы на торговца. Солдатский вопрос о безопасности объекта после завершения миссии. — Претензий больше нет?

Она бросила короткий, колкий взгляд в сторону мясной лавки.

— Сейчас — нет. Он боится Вас. Но он запомнит моё лицо. Вероятно, отцу придётся искать другого поставщика trebuхи для наших снадобий. Глупо.

И снова — не эмоции, а стратегическая оценка. Она думает наперёд. Видит последствия. И снова упоминает отца и их дело. Моё уважение (и любопытство) росло с каждой её фразой. Мне нужно было вернуться к своему плану. К рутине, которая вдруг показалась невыносимо скучной.

— Мне нужно найти лавку с тканями, — сказал я. — Простую тунику.

Она посмотрела на меня. Её взгляд, тот самый, дикий и оценивающий, скользнул по моему выцветшему плащу, по стоптанным калигам, задержался на лице. В её глазах мелькнуло не насмешка, а быстрое, точное понимание.

— Я знаю такую, — сказала она. — Не здесь, где обдирают приезжих. Я провожу Вас, мне по пути. Я в долгу перед Вами.

Она сделала маленькую паузу, и уголки её губ дрогнули в подобии усмешки.

— А то ещё какой-нибудь торговец примет Вас за богатого ветерана с полным кошельком и продаст тунику из ткани, которая разлезется после первого дождя.

И тут меня накрыло. «примет Вас за богатого ветерана»

Она только что видела, как я, не обнажая меча, одним взглядом и тоном поставил на место здоровенного быка. Она видела шрамы, походку, выцветший плащ. И за какие-то секунды она не просто поняла. Она — прочла. Как центурион читает карту перед боем. Угадала, что я не отставной богач, а действующий легионер, скорее всего, с границы, без лишних денег в кошельке. Эта простая фраза выдала в ней такую наблюдательность, такую житейскую хватку и поразительную, обжигающую прямооту, что у меня отпали последние сомнения. Это была не просто девчонка с рынка. Это была встреча. Не с красотой. Не с нежностью. С РАВНЫМ. С другим воином, который сражается на своей, непонятной мне территории. И оружие её — не меч, а этот самый, безжалостно точный ум.

Я молча смотрел на неё, на её медные волосы и дикие, восточные глаза. Мой план на день лежал в руинах. «Пункт три» трансформировался во что-то невозможное и пугающе интересное.

— Веди, — коротко сказал я.

Она кивнула и, поправив свёрток под мышкой, двинулась вперёд, прокладывая путь сквозь толпу. Я пошёл следом, на полшага сзади, как привык на марше. Мы шли молча. Но это молчание уже было другим. Оно было наполнено неловкостью, любопытством и каким-то странным, новым знанием: мы — двое чужаков в этом городе. И почему-то это казалось теперь важнее, чем любая туника на свете.

Анастасия

Серые. Вот что врезалось в память первым. Не цвет плаща или пыльной дороги. Его глаза. Серые, как вода в свинцовом тазу, где отец моет свои инструменты после работы. Холодные. Чистые. Намеренно пустые. Как хирургический инструмент до того, как на него ляжет кровь. Но когда он смотрел на того быка, Тертия, что-то в них щёлкнуло. Не ярость. Не та животная злоба, что была в глазах мясника. Вспышка. Решение. Точное, как движение скальпеля в руках отца, когда он знает, где резать. Такой взгляд не может врать. Он либо есть, либо его нет. У этого человека он был.

Я шла впереди, чувствуя его за спиной. Не слышала шагов — он ступал мягко, несмотря на тяжёлые сапоги. Но я чувствовала его присутствие. Тёплое, плотное, как стена из живого камня между мной и грохочущим хаосом рынка. Телохранитель. Странное слово для мыслей девушки, которая только что вырвалась из грубых лап.

Но я не просто девушка. Я — дочь лекаря. И мой взгляд, пусть и украдкой, ищет не красоту, а следы. Шрамы.

Шрам у него на челюсти я заметила сразу. Длинный, ровный, бледный. Чистая работа. Лекарь знал своё дело. Или просто повезло — лезвие прошло вдоль кости, не порвав мышцы на щеке. Зажило хорошо. Я машинально представила, как бы чистила такую рану, какие швы наложила бы. Грех, наверное, думать о теле незнакомого мужчины как о теле. Но это привычка. Я видела тела. Голые. Искалеченные. Мёртвые. Это не смущает. Это — факт.

А потом я увидела другое. Он поправил плащ, и рукав туники задрался. Чуть выше запястья, на смуглой, исчерченной более мелкими белыми нитями шрамов коже — татуировка. Я успела разглядеть лишь часть: извивающуюся линию, крыло Мгновение — и ткань скрыла её. Но мне хватило.

Кадуцей? Жезл Гермеса? Зачем солдату

В голове тут же выстроились знания. Покровитель торговцев, путешественников, путников и воров. Или нет. Глашатаи. Те, кто несёт весть и просит мира. Знак переговоров, а не битвы. Или Врачи? Нет, врачи носят жезл Асклепия, с одной змеей. Здесь же их две. Загадка. Этот знак — не для простого легионера. Он что-то значит. Что-то важное. Надо спросить. Спросить прямо. Отец говорит: лучший диагноз ставится, когда не боишься задавать неудобные вопросы.

Мы свернули в ещё более узкий переулок, и он оказался совсем близко. Я почувствовала не взгляд, а его тепло, исходящее от всей этой молчаливой, собранной массы мышц и костей. Он шёл не как римляне из высших кварталов — не вышагивал, не гордился собой. Он двигался. Экономно. Каждый мускул тратился только на необходимое движение вперёд. Ничего лишнего. Как волк в лесу.

И моё проклятое воображение, натренированное годами помощи отцу, тут же нарисовало картину. Туника сброшена. Широкие плечи, крепкая спина, где каждое движение сухожилия отзывается под кожей. Руки эти руки, которые могут держать меч с такой же лёгкостью, с какой я держу пестик в ступе. Они могут

Внизу живота что-то ёкнуло. Коротко, горячо, низко. Не мысль. Чистое, животное ощущение. Молния, ударившая куда-то в тёмную, сокрытую плоть. Картинка: эти руки могут не только держать. Они могут обнимать. Сжимать так, что дыхание застыло бы в груди. Так же властно, как его взгляд сжал волю Тертия.

«Господи, прости меня!»

Мысль врезалась, как удар собственной ладони по щеке. Грех. Это был грех. Взгляд похоти. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём». Я знаю эти слова. Я стараюсь жить по ним. А сейчас сейчас я смотрела. Я — смотрела. На язычника. На солдата, чьи руки, наверняка, в крови. Он даже имени моего не знает. И я не знаю его. Мы — ничто друг для друга. Прохожие.

Я сглотнула, чувствуя, как жар разливается по щекам. Слава Богу, он шёл сзади.

Нужно думать о чём-то другом. Он помог. Помог бескорыстно. Нужно отплатить добром. Провести к честному торговцу. «Любите и врагов ваших», — шепчет во мне голос. А он даже не враг. Он просто чужой. Медный волк с серебряными, как свинец, глазами. Но мысль снова, упрямо, возвращалась к татуировке. К загадке. Почему кадуцей? Вестник? Слишком тих для вестника. В нём нет той суетливой готовности служить. Сын торговца? Нет, во всей его осанке — ни капли услужливости, заискивания. В нём тишина. Та самая глубокая, звенящая тишина, что наступает в нашем доме перед приходом больного с тяжёлой раной. Тишина перед действием. Перед болью. Перед чем?

Я не выдержала. Не смогла просто провести его и уйти. Он вошёл в моё поле зрения, а теперь и в голову, как заноза. И её нужно было вытащить. Или понять и принять.

Я замедлила шаг почти до остановки у знакомого поворота. Лавка старьевщика Гая была уже близко. Я не обернулась. Сказала в пространство перед собой, в вонючий, пыльный воздух Субуры, но каждое слово было отчеканено для него:

— Твоя татуировка кадуцей.

Я сделала крошечную паузу, давая словам повиснуть.

— Редко увидишь на войне. Ты служил вестником? Или — я чуть повысила голос, вкладывая в вопрос весь свой медицинский интерес, — это память об отце-враче?

И только тогда, задав этот вопрос, я обернулась. Чтобы увидеть, что вспыхнет в этих свинцово-стальных глазах в ответ: готовность к бою, удивление или что-то третье.

А в голове пронеслось уже не о нём, а обо мне: «Зачем я это спросила? Что я хочу услышать? Господи, будь со мной. Пусть слова мои будут как лекарство. Пусть они либо развеют это странное незнание, либо облегчат эту новую, щемящую боль под рёбрами, что началась в тот миг, когда он посмотрел на меня и решил, что я — его дело».

Марк

«Нет, — сказал я наконец, и мой голос прозвучал тише, чем я планировал. — Не вестник. И отец не врач. Он был солдатом. Как и я».

Я не стал говорить про кадуцей. Это было бы слишком. Но я дал ей крошку. Больше, чем давал кому-либо за последние годы. Потому что она её вырвала. Дерзостью. И я, клянусь Поллуксом, не мог не уважать этого.

Она кивнула — коротко, будто эта скупая информация что-то для неё прояснила, и жестом указала на неприметный навес с грубой, некрашеной шерстью. Лавка старьевщика. Не для вольноотпущенников, а для самой бедноты и таких, как я, — приезжих, у которых в кошельке звенят не золотые, а медные ассы. Умная. Она угадала мой бюджет с полувзгляда. Это было одновременно лестно и злило.

Я выбрал тунику на ощупь — грубая шерсть, но плотная, не расползётся после первой же стирки в легионе. «Сойдёт», — констатировал внутренний голос, отвечавший за экипировку. Затем, привычным движением, расстегнул ремень с коротким боевым ножом. Снял его, почув-

ствовав, как ослабляет хватку привычная тяжесть на бедре, и положил на ближайший ящик, в зоне досягаемости. Никогда не знаешь. Даже здесь.

Потом я взялся за старую тунику, вцепился в подол и потянул на себя через голову. Движение было отработано за годы в казарме. Я отвернулся к столбу, подставив стенке спину, а не ей и не улице. Старая привычка — не подставляться. Пропотевшая ткань со свистом соскользнула с торса, и на мгновение я почувствовал прохладу вечернего воздуха на коже. И — её взгляд.

Я не видел его. Я чувствовал. Как физическое давление между лопаток. Я сбросил тряпку на ящик рядом с ремнём и, не оборачиваясь, взял новую тунику. И только тогда повернулся, чтобы накинуть её.

И поймал её взгляд.

Он не был пристальным. Он был быстрым и профессиональным, как и тогда, когда она оценивала шрам на моей челюсти. Он скользнул по рёбрам, где старый след от германской рогатины тянулся белой полосой, по плечам, испещрённым мелкими ссадинами от доспехов, по животу, где мышцы лежали плотными пластами, как у всех, кто таскал на себе вес полного снаряжения легионера. И этот взгляд, этот пронизывающий, изучающий взгляд врача или кого-то ещё, задержался на долю секунды дольше, чем следовало.

А потом отскочил, как обожжённый.

Но я успел увидеть, как по её смуглым щекам, под тонкой кожей, где проступали веснушки, разлился чёткий, алый румянец. Не пятнами, а ровной, горячей волной. Это не был страх. Это было чистейшее, оглушительное смущение. И что-то ещё, от чего у меня самого кровь ударила в виски.

Видела мужчин, — холодно констатировала одна часть моего мозга, пока я натягивал новую ткань. Но не таких. Или не так близко.

И в этот момент, глядя на её опущенные ресницы и этот предательский румянец, я увидел в ней другое. Не дерзкую девчонку. Маленького, рыжего мышонка. Умного, быстрого, который только что осмелился ткнуться носом в нору спящего кота, сам испугался своей смелости и теперь замирает, не зная, бежать или ждать.

И эта мысль — про мышонка — не сделала её слабее в моих глазах. Наоборот. Это добавило ей странной, дикой хрупкости, которая вдруг показалась мне самой опасной вещью на свете. Потому что мой внутренний, солдатский цинизм, мой «пункт три», с которым я пришёл на рынок, тут же взорвался и переродился во что-то неуправляемое.

Пока я затягивал пояс, в голове пронеслись вопросы, ясные, как боевые команды, и такие же невозможные для произнесения вслух:

«Были ли у тебя мужчины, рыжий мышонок? Трогал ли кто-нибудь вот эти самые руки, что сейчас сжимают свёрток с травами, как щит?»

Обнимал ли эту талию — не тонкую, а крепкую, жилистую — и чувствовал ли, как под ней бьётся это бесстрашное сердце?

Проходила ли чужая ладонь по тем самым бёдрам, что сейчас чётко обрисовываются под хитоном, и знает ли она, какая на них кожа — горячая или прохладная?

Или ты? Тут мысль споткнулась, наткнувшись на невероятное. Нет. В двадцать лет, в этом Риме, где каждый второй готов продать тебя за глоток вина? Не может быть. Но если нет. Если под всей этой дерзостью, под умными глазами и медицинской сноровкой скрывалось это. Тогда всё становилось в тысячу раз сложнее, опаснее и безумно интереснее.

Я поправил складки на плече, сделал вид, что проверяю, не жмёт ли под мышкой. Внутри всё горело. Снаружи — ледяное спокойствие.

— Подходит, — сказал я, и голос мой звучал глухо, как из бочки.

Благодарю за помощь в выборе.

Я поднял на неё взгляд, ища в её глазах ответ на свои невысказанные вопросы. Румянец уже схлынул, но в глубине её раскосых, восточных глаз всё ещё плескалось смущение, замешанное на том же любопытстве. И на решимости. Эта девчонка, этот мышонок, не собиралась отступать.

И тогда она, сделав крошечную паузу, как перед прыжком через пропасть, сказала:

— Ты спас меня сегодня больше, чем просто от срыва торговой сделки. Мой отец мы живём скромно, но у нас есть крыша и хлеб. И доброе вино из старого сада в Кампании. — Она посмотрела мне прямо в глаза, и в её взгляде не было ни капли заискивания. — Если у тебя нет иных планов можешь разделить с нами ужин. В долгу оставаться неудобно.

Она сказала «мы». «Отец». Это был щит, брошенный на мгновение между нами. И одновременно — пропуск в её мир.

И я понял, что мой план на этот день окончательно и бесповоротно рухнул. Но на его обломках возникло нечто, от чего сердце забилося с новой, незнакомой силой. Не просто желание. Вызов. И предчувствие, что этот вечер не закончится просто ужином.

Она остановилась, обернулась и, не опуская глаз, протянула руку. Не для поцелуя. Ладонью вверх. Жест был настолько неправильным, настолько лишённым римской выучки и страха, что у меня на секунду отключился мозг. Женщина. Первой. Центуриону. Это был не вызов власти. Это было предложение мира. На равных.

— Мы не представились, — сказала она, и в её голосе не было и тени смущения от собственной дерзости. Только ясность. — Я — Анастасия. Дочь Анатолия, врача.

Анастасия. «Воскресшая». Имя-знамя. Имя-загадка. Анатолий. «Восточный». Словно тень от её рыжих волос легла на карту мира и указала направление: не отсюда. Издалека.

Мозг, привыкший раскладывать всё по полочкам, мгновенно выдал справку. Анатолий. Не какой-нибудь Леонид. Не просто «врач». Имя редкое, книжное, для греков-интеллектуалов, чьи корни терялись где-то у границ Парфии или в диких горах Каппадокии. Врач с Востока. А дочь его — Воскресшая с Востока. Или — Воскресение, пришедшее с Востока.

Два имени сложились в одно предложение, в пророчество, в приговор. От этого сочетания по спине пробежал холодок, не имевший ничего общего с вечерней прохладой. Это была не просто девушка. Это была формула. Формула чего-то такого, во что я сейчас вступал, не читая условий.

Я смотрел на её ладонь. На эти карие, раскосые глаза, в которых теперь, после названного имени, плескалась не только дерзость, но и какая-то обречённая ясность. Она знала, что делает. Знала, что мы переходим черту. И шла на это первой.

Внутри всё перевернулось. Это уже не «пункт три». Это не «отложенная нужда». Это нечто другое. Мысль ударила с той же неоспоримой силой, с какой я когда-то понял, что следующая атака будет последней — либо для противника, либо для меня.

Так. Значит, вот как.

Она — Анастасия. Воскресение. Её отец — Анатолий. Восток. А я — Марк Кассий Витул. Прах. Тень. Солдат, у которого нет ничего, кроме меча, долга и призрака в прошлом, который может убить его в будущем.

И нас свела вместе не случайность. Свела логика падения. Я падал в эту пропасть с того момента, как шагнул вперёд на рынке. А она она стояла на дне этой пропасти с самого рождения, со своим именем, со своим восточным отцом, со своей дикой, несломленной верой в то, что можно смотреть солдату в глаза и протягивать руку.

Это было неотвратимо. Как приказ, от которого нельзя отказаться. Как битва, которой не избежать.

Я медленно поднял руку. Не взял её за запястье. Не схватил. Я положил свою ладонь поверх её ладони. Кожа на её руке была не мягкой, а прохладной и шершавой от трав, от работы, от жизни. Контакт длился меньше секунды.

— Марк, — сказал я, и мой голос прозвучал чужим, слишком тихим в грохоте города. — Марк Кассий Витул. Центурион Седьмого Клавдиева легиона.

Я смотрел на её лицо, ища хоть тень понимания, страха, узнавания. Услышит ли она в этих именах что-то? Нет. В её глазах не было ничего, кроме того же принятия факта. Она кивнула, так же коротко и чётко, как солдат, получивший донесение.

— Пойдём, Марк. Дом недалеко.

Она убрала руку и повернулась, чтобы вести меня дальше. А я шёл за ней, и внутри меня бушевала уже не буря, а ледяная, беззвучная ясность катастрофы.

Всё кончено. План мёртв. Задание выполнить не удастся. Обратной дороги к своим не будет. Ты вошёл в её историю. В историю «Воскресения с Востока». А в такие истории входят, чтобы либо умереть, либо измениться до неузнаваемости. И первое, кажется сейчас куда более вероятным.

Но отступать уже поздно. Потому что я уже назвал её своё имя. А в этом мире, в моём мире, имя, отданное нейтральной территории, которую ещё предстоит завоевать или на которой предстоит погибнуть, — это первая и последняя ошибка. Или — первый и последний шаг к чему-то, что даже не имеет пока названия.

Анастасия

Мы шли по узкой улочке Субуры, заваленной мусором и пустыми амфорами. Я впереди, чувствуя его тяжелые, размеренные шаги за спиной. И этот звук был не просто шум. Это был ритм, под который теперь билось моё сердце.

Мысли неслись вихрем, путались, цеплялись одна за другую, как корни повилики на гнилом заборе.

Они видят. Все видят.

Из-за грязной занавески в окне мастерской медника мелькнуло лицо старухи Марины — вечной блюстительницы чужих нравов, у которой на собственную жизнь не хватило ни греха, ни смелости. У колодца притихли двое подмастерьев, и их взгляды, липкие и любопытные, повисли у меня на спине, будто паутина. Я знала, о чём они подумают, ещё не открыв рта. «Вот ведут дочь врача Анатолия. И легионер с ней. Интересно, за долги отца заплатит нечем? Или уже и она».

Щёки запылали бы от стыда, если бы не горели и без того от иного огня. «Пусть думают», — попыталась я убедить себя, ускоряя шаг. — «Пусть судачат. Мой долг — благодарность. Я не украла. Не убила. Я просто веду его в дом. Чтобы накормить. Как странника».

Но это звучало слабо, фальшиво, даже в моей собственной голове. Словно я повторяла заученную наспех молитву, в которую сама не верила.

Я попыталась ухватиться за что-то прочное, за единственный якорь — за веру. Хлеб. Вино. Кров. Гостеприимство — не грех. Разве Сам Учитель не сказал: «Я был странником, и вы приняли Меня»? Слова были тёплыми, утешительными, как плащ в стужу.

Но тут же, из самой глубины, поднялся иной, ядовитый и страшно правдивый голос. Он звучал тихо, но каждое слово било точно в цель: «Странником. А не молодым, крепким мужчиной, от одного вида чьего голого торса у тебя до сих пор дрожат колени. Солдатом. Язычником. Ты обманываешь себя, Анастасия. Ты ведёшь его домой не только из благодарности. Ты сама этого хочешь. И это знание жжёт тебя изнутри сильнее любого стыда».

Я зажмурилась на мгновение, пытаясь отогнать этот голос. А Он? Если бы Учитель думал, «что скажут», разве подошёл бы к прокажённым? Позволил бы грешнице омыть Свои ноги слезами и волосами? Он смотрел в сердце. Видел намерение.

А какое у меня намерение?

Благодарность? Да. Искренняя.

Страх? Господи, да. До тошноты.

Но было и другое. То, в чём я боялась признаться даже в мысленной молитве. Любопытство. Жгучее, неотступное, пугающее. К нему. К этому медному волку с серебряными глазами, который шёл за мной, молчаливый и опасный. К тому, что прячется за его шрамами и этой странной татуировкой. К тому, каков он там, внутри, под слоями кожи, мускулов и солдатской выучки.

«Это грех?» — спросила я себя в отчаянии. - «Или это просто жизнь? Та самая жизнь, которую Он тоже создал и благословил, увидев, что она «хороша весьма»?

И тут, поверх всех этих сплетающихся нитей мыслей, поднялась самая тёмная, самая животная волна. Волна чистого, незнаемого страха.

Никто. Никогда.

Два слова, простых и всеобъемлющих. В них заключалась вся моя жизнь: двадцать один год.

Никто никогда не касался. Не обнимал. Не прижимал так, чтобы дыхание перехватывало. Я знала мужское тело только как анатомию. Как карту из мышц, сухожилий и костей, которую можно исцелить или на которой можно найти причину смерти. Я знала его снаружи, как хирург. Но я не знала его изнутри. Не знала его тяжести. Не знала, каково это — чувствовать на своей коже не прохладное прикосновение пальцев, проверяющих пульс, а жар чужих больших, шершавых ладоней. Не знала запаха мужской кожи и пота так близко, чтобы он заполнял всё вокруг. Не знала ничего о той силе, что может быть не разрушительной, а обнимающей.

И это «ничего» пугало меня до дрожи в коленях. Но, о Господи, в этом страхе таилась и жуткая, запретная притягательность. И я, как слепая, шла навстречу самой великой и самой страшной тайне в жизни женщины, даже не представляя её очертаний. А если я всё сделаю неправильно? Скажу не то? Он увидит мою неловкость, мою полную неискушённость и рассмеётся? Сочтёт дурой? Или, что ещё страшнее, сжалится?

Я почти побежала, чтобы скрыть дрожь в ногах, и вот он — наш переулок, наш дом. Окно было тёмным, как провал в стене. Дверь заперта. Возле соседского колодца, как чёрный ворон на жёрдочке, сидела та самая Марина.

— Отца что ли ищешь, голубка? — голос её прозвучал сладко, с притворным участием. — Уехал. К тому самому всаднику на Авентине, с приступом подагры. Бедняга так кричал, что слышно было, наверное, до самых Капенских ворот. «До утра, — сказал Анатолий, — не жди».

Мир на миг замер, а потом обрушился на меня с новой силой.

Одни.

Слово прозвучало в голове с леденящей ясностью.

Мы одни в доме. Всю ночь. Это уже не домыслы. Это факт. Завтра весь квартал будет шептаться, перемывать косточки, тыкать пальцами. «Провела ночь с легионером. Девка, а уже» Моя репутация

Но тут же пришло горькое прозрение: какая может быть «репутация» у чужеземки-гречанки, дочери врача, в самой гуще Субуры? Здесь не было репутации. Здесь было только выживание. День за днём. И моя честь измерялась не сплетнями старух, а чистотой моей совести перед Богом.

И за ужасом, невероятным образом, пришло облегчение. Глубокое, выдыхаемое, почти кощунственное. Отец был в безопасности, у важного, платящего клиента. Его не будет дома. Никто не помешает. Никто не увидит моей растерянности, моего смущения, моих неловких движений. Мир вдруг сжался до размеров четырёх стен, крыши и двух людей под ней. И теперь мой единственный судья — не соседи, не отец, а только Бог и моя собственная, не знающая покоя совесть. Это было страшно до головокружения. И невыносимо свободно.

Пальцы мои дрожали, когда я шарила в складках хитона, ища ключ. Он зацепился за нитку, и мне показалось, что я никогда его не достану. Наконец, холодный металл кос-

нулся кожи. Звук поворачивающегося в скрипучем замке ключа прозвучал в вечерней тишине подобно грому.

Дверь отворилась. Из темноты на них пахнуло знакомым, успокаивающим воздухом дома: сушёной лавандой, горьковатой полынью и одиночеством всех прошлых ночей, проведённых в ожидании отца.

Я обернулась к нему, застыв в дверном проёме. Моё лицо было в тени дома. Марк стоял на узкой улочке, и последний луч заката, пробившийся меж крыш, золотил его волосы и плечи, рисовал огненный контур вокруг его фигуры. Я смотрела на него — на этого незнакомца, этого солдата, этого волка, которого теперь впускала в своё логово, — и говорила. Голос мой звучал тихо, но без тени прежней дрожи. Это был голос человека, принявшего неизбежность.

— Входи.

Я сделала паузу, переводя дух, давая этим двум словам повиснуть в воздухе между нами.

— Отца вызвали к больному. До утра. — Я посмотрела ему прямо в глаза, туда, где таилась свинцовая сталь. — Так что ужин будет на двоих. Если тебя не смущает такая неожиданность.

Фраза «такая неожиданность» висела в воздухе, вмещая в себя всё. И пустой дом. И долгую ночь. И мою неопытность. И тот невысказанный вопрос, что жёг меня изнутри. Я только что протянула ему на ладони свою репутацию, свою безопасность и всю свою внутреннюю борьбу. Это был не вопрос. Это был последний шанс. Шанс для него отказаться, развернуться и уйти, оставив всё как было.

Но в глубине души, в самой сокровенной её части, уже теплилась слабая, испуганная искра надежды, что он этого не сделает.

Марк

Я сделал шаг через порог, и мир перевернулся.

Скрип половиц под моими калигами прозвучал здесь, в этой тишине, как окрик командующего на рассвете. Я стоял в крошечной прихожей, втягивая носом воздух, который не имел права так пахнуть. Не дерьмом, не гарью, не потом толпы. Здесь пахло тишиной. Сухими травами, воском от лампы и чистотой. Чистотой, которая резала легкие после уличной вони.

Она скользнула мимо, и шелест ее хитона обжег мне руку, как прикосновение раскаленного металла. Она зажгла свет, и я увидел ее дом. Не лачугу, не дворец. Место знаний. Склянки, свитки, ступка. Царство ее отца. И в углу, на самой незаметной стене — простой деревянный крест. Я отвел глаза. Тот самый знак. Ее знак. Та самая вера, за которую, ходят слухи, скоро начнут хватать даже сенаторов. Глупость или отвага? В этом городе, под взглядом «бога» Домициана, это было одно и то же.

Она ушла, оставив меня одного с этим открытым свитком на столе. Греческие письмена, рисунки мышц и костей. А рядом — ее восковая табличка. Я провел пальцем по строчкам. Аккуратный, твердый почерк. Не женский завиток, а четкие, ясные буквы. Так она думала. Клянусь Геркулесом, так она думала. Это было страшнее наготы. Я трогал не ее кожу, а следы ее ума. Вторжение.

Она вернулась с едой и вином: грубой краюхой хлеба, куском белого сыра и горстью оливок в глиняной миске. Поставила. Наши пальцы едва не столкнулись. Она дернулась назад, будто от укуса змеи. Я поймал ее взгляд — огромный, темный в полумраке, полный того же вопроса, что сверлил и меня: «Что, во имя всех богов, мы здесь делаем?»

Молчание. Оно висело между нами плотной, липкой тканью. Шум Субуры доносился сюда как дальний гул океана — мы были на дне, в самой глубокой тишине, куда не проникал ни один звук этого безумного города.

Она налила вина. «За твоё здоровье». Сказала правильные слова, но голос у нее был плоский, как лезвие тупого меча. Я взял чашу. Выпил залпом. Вино, терпкое и густое, ударило в голову, но не затуманило ее. Наоборот — заострило все до болезненной ясности.

Я поставил чашу. Звякнуло слишком громко.

— За твое, — выдохнул я. И добавил, как будто бросая на стол последнюю монету, последнюю частицу себя: — Анастасия.

Имя прозвучало в тишине как клятва, вырванная под пыткой. Она вздрогнула.

И тогда она спросила. Прямо, без покрова, как режут скальпелем. — Почему?

Один вопрос. И в нем — все. Она не спрашивала о защите, о благодарности. Она спрашивала о мотиве. Как врач, который знает: симптом — ничто без причины.

Я смотрел на ее руки, вцепившиеся в край скамьи так, что костяшки побелели, как мрамор. Что ей сказать? Что ее ярость напомнила мне последний бой моего опциона, которого мы потом хоронили с почестями? Что в тот миг она была единственным настоящим, не поддельным существом во всей этой грязной рыночной толчее?

Я выбрал правду. Ту, что смог вытащить из себя.

— Ты не кричала. Не просила. Ты сражалась. Взглядом.

Я запнулся. Слова были грубыми, неуклюжими, как мои собственные кулаки.

— В моей жизни было много криков. И просьб. Слишком много. А вот такой такой тихой войны, когда отступать некуда, но все равно не сдаешься — Я замолчал, не в силах закончить. — Это редкость.

Я ждал, что она рассмеется. Или не поймет. Но она посмотрела на меня, и в ее глазах не было ни смеха, ни недоумения. Там было понимание. Мгновенное и пугающее, будто она только что прочла по моему лицу все, что я скрываю, все, о чем молчу.

— Да, — просто сказала она. — Я не сдаюсь.

И в этих трех словах я услышал всю ее жизнь. Всю ее историю. Историю чужестранки, женщины, христианки. Историю бойца. Мы были в одном строю, даже не зная этого. Двое против всего города, всей этой прогнившей империи.

Она отпила вина. Медленно. Потом поставила чашу и подняла на меня тот самый взгляд — прямой, пронзительный, врачебный. Взгляд, перед которым нет смысла лгать.

— А теперь скажи мне про кадуцей, Марк Кассий Витул. На руке солдата. Почему?

Вот оно. Пришло время. Вопрос, на который я не отвечал никому много лет. Вопрос, который может открыть ей дверь в самое темное подземелье моего прошлого. Или похоронить то хрупкое, едва возникшее между нами перемирие. Я посмотрел на свой рукав, скрывающий извивы темных линий и шрамов. Потом поднял глаза на ее лицо. На ее упрямый, ждущий взгляд. На рот, сжатый в ожидании правды.

И я понял, что отступать поздно. Мы прошли точку невозврата, когда я шагнул за ее порог. Теперь нужно идти до конца.

Я потянулся к завязке на рукаве своей новой, еще пахнущей грубой шерстью туники.

— Это не просто татуировка, — начал я, и голос мой звучал хрипло, как будто я не пользовался им годами. — Это клятва. И проклятие. Одновременно.

Какое-то время она молчала, опустив глаза. Я воспользовался этим, чтобы поесть и осмотреть комнату.

Не лачуга. Но и не дом. Это была клетка. Не для зверя, а для людей, которые слишком много знают и слишком мало имеют. Чистота здесь была в нос, как пощёчина после вонючего дыхания Субуры. Полки с глиняными горшками, где жили сушёные травы — полынь, чабрец, шалфей. На чистом полотенце лежали инструменты её отца: бронзовые пинцеты, скальпели, зонды. Я мысленно оценил их остроту. Хирургический блеск. В углу — грубая деревянная кровать, застланная простым, но безупречно чистым покрывалом. Ничего лишнего. Всё на своих местах, как в образцовом лагере. Это была укрепленная позиция. Атаковать сюда в лоб было бы безумием. Осаждать — бесполезно. Оставалось одно: капитулировать или уйти.

Она вновь подняла глаза, восточные, темные. И из этих глаз на меня смотрела бездна. Последний ответ заметно смутил её, но она не съежилась. Наоборот, выпрямилась, как центу-

рион на разводе. И метнула, как дротик, следующий вопрос, от которого у меня в горле застрял кусок хлеба.

— Марк, скажи, а как это — убивать?

Я поднял на неё взгляд. Искал в её карих глазах ужас, осуждение, жалость — всё, к чему привык. Не нашёл. Там было чистое, ненасытное любопытство. Как у неё же, когда она разглядывала шрам на моей челюсти. Это сбивало с толку сильнее любой насмешки.

— Почему ты спрашиваешь? — мой голос прозвучал глухо, оборонительно.

— Я никогда не убивала. Только лечила. Убивать — грех.

Внутри что-то щёлкнуло. Холодная, знакомая злость. Я усмехнулся, и звук вышел резким, как удар гладием по щиту.

— Грех? А если этот человек уже занёс нож над твоим отцом? Или хочет взять тебя силой? Тоже грех?

Она замолчала. Опустила глаза. Впервые за весь вечер. Я почувствовал странную, горькую победу. И тут же, не давая ей опомниться, выдал своё кредо. Свою солдатскую правду, выбитую на скрижалях из чужих костей.

— Нет. Врага убивать не грех. Для солдата это — работа. Как для тебя шить раны. Ты лечишь, чтобы жизнь продолжалась. Я убиваю, чтобы моя жизнь и жизнь тех, кто за мной, — не заканчивалась. Всё просто.

В комнате повисло молчание. Тяжёлое, как свинцовый плащ. Я только что объяснил ей основной закон своей вселенной. Вселенной, в которую она теперь неосторожно вступила.

Потом разговор потек о другом. Мелочах. Разведка боем. Я спрашивал про отца, про её жизнь в Риме, пытаясь нащупать слабые места, понять ландшафт. Но она возвращала удар. Каждый раз.

Осторожно говоря о своём Боге, о любви к врагам, она вдруг спросила

— А ты любил кого-нибудь?

Удар. Не в пах. Прямо в сердце, в ту самую пустоту, которую я давно заморозил и замуровал. Я отпил вина, чтобы выиграть секунду. И рассказал. Коротко. Сухо. Как рапорт о потерях.

--Девочка из соседнего дома в Остии. Цветы, сорванные тайком. Деревянный меч, который я для неё вырезал. Потом — граница, Рейн. Известие от знакомых, пришедшее с полугодовой задержкой: «выдали замуж в шестнадцать. Умерла в родах. Ребёнка не спасли».

Я произнёс это ровно, без тени дрожи. Внутри была не боль, а вечная мерзлота пустоты. Я ждал жалости. Её не было. В её глазах было только понимание. И это было в тысячу раз страшнее.

Потом пошли удары тараном. Её вопросы били ниже пояса, ломали рёбра, вышибали душу.

— Марк, а у тебя уже были женщины?

Удар рукоятью меча по виску. Я хрипло рассмеялся.

— Да. Много. Разных.

И я описал ей не красоту, а грязь. Липкие руки походных проституток где-нибудь в Могонтиаке. Их грубый, глупый смех, пахнувший дешёвым вином и чесноком. Деревянность тел при всей их натренированной искущённости. Ощущение опустошения после, хуже, чем после самого кровавого боя. Я вывалил на неё всю эту помойную яму, чтобы оттолкнуть. Чтобы она увидела, с кем имеет дело. Чтобы показать себя, настоящего, не приукрашенного.

Она не отшатнулась. Не сморщилась. Она слушала, и в её глазах я читал не отвращение, а понимание этой пустоты. И тогда она задала следующий вопрос. Тот, от которого у меня перехватило дыхание.

— А как у тебя было в первый раз?

Удар ножом под рёбра. Я выдохнул, сжав кулаки.

—Просто. Быстро. И грубо. Мне было шестнадцать. Накануне первого настоящего боя против хаттов. Старый центурион, ветеран двадцати кампаний, ткнул меня пальцем в грудь и сказал: «Иди, новобранец, сними это проклятое напряжение. А то как ты завтра щит держать будешь? Дрожащими руками?» Я пошёл. Сделал. Помню только запах дешёвого бальзама в её волосах и собственную дрожь в коленях. Не от страха. От стыда.

Я посмотрел на неё. Она опустила глаза. Попал. Боги, я попал! Мысль вонзилась в мозг, горячая и нестерпимая: Она она ещё не

И тогда она сделала свой ход. После неловкой паузы (возраст: ей — двадцать один, мне — тридцать два, целая пропасть опыта и разочарований) она сказала, глядя на мои руки:

—У тебя есть старые раны, которые ноют к непогоде? Давай, я осматрю. В благодарность. Бесплатно.

И внутри меня всё взорвалось. Глухая, яростная буря. «Глупый, бесстрашный, маленький мышонок! Ну куда же ты лезешь? Куда?! Если я сейчас разденусь здесь, если ты коснёшься меня своими прохладными, знающими пальцами если это случится здесь, на этой нейтральной полосе между твоим миром и моим остановить меня ты уже не сможешь. Да ты и не хочешь. Ты хочешь другого. Ты ведёшь свою собственную атаку. И как у тебя всё это укладывается в твоей рыжей голове? Грех и желание? Молитва и похоть? Или или ты уже просто отключила голову и слушаешь только это, новое, дикое чувство под рёбрами?..»

Но вслух я сказал другое. Сухо, отчеканивая каждое слово, как предупреждение перед штурмом.

—Я в Риме на одну ночь. Если ты дашь мне ночлег я останусь.

Она не ответила сразу. Её глаза метнулись к тёмному окну, будто ища там ответа. Потом она выдохнула, и слова потекли быстро, как будто она только что их придумала — или давно держала наготове.

---Отец придёт только утром. Я скажу ему, что тебя ранили на рынке, когда ты защищал меня. И что мой долг перед легионером

Я не дал ей закончить, перебил. Голос мой стал жёстким, испытующим, как у допросчика.

—И ты не боишься? Что ночлег римского солдата погубит твою репутацию? Что потом замуж не выйдешь, даже если найдётся дурак?

В её глазах вспыхнули горькие, острые искорки. —Замуж? За кого? Кто отважится взять за себя чужеземку без гражданства, дочь врача, которая пахнет полынью, а не духами? — Она сделала паузу, и её голос стал тише, но твёрже. — А моя репутация она или уже погублена с той минуты, как ты переступил порог. Или ей ничего не грозит. Ведь дать кров и помощь раненому клиенту отца — дело естественное и богоугодное.

И тут меня обожгла новая, грязная, циничная мысль. Шепоток того самого внутреннего голоса, что годами выживал на границе. «А что, если она не первый раз так Что, если этот мышонок уже не раз впускал в свою норку забредших раненых путников?..» Я не сдержался. Кольнул, желая уязвить, желая проверить прочность её брони.

—И часто ты оставляешь клиентов отца на ночь?

Её руки резко отстранились от стола, будто она дотронулась до раскалённого железа. Всё её тело напряглось, выпрямилось. Голос, когда она заговорила, был тонким, хрупким и холодным, как первый лёд на Тибре. —Отец — да. У меня ты — первый.

Первый.

Слово ударило в висок, а потом — молнией ушло вниз, в самое нутро, сжимая всё там в тугую, горячий узел. Первый. В этой клоаке, в этом городе-ловушке. И ведь боится. Боится до дрожи в пальцах, я вижу. Но решилась. Как солдат, переходящий в рукопашную. Отбросила всякую защиту, взяла гладий и пошла на прорыв. И отступать не собирается.

Остался один вопрос. Последний барьер. Мой голос теперь был тихим, безо всякой стали. Просто усталым. Усталым от этой битвы, от которой я не хотел отбиваться.

—Почему, Анастасия? Почему ты хочешь, чтобы я остался?

Она подняла на меня глаза. В них не было ни тени сомнения. Только та самая ясность, что была на рынке. Ясность решения, принятого раз и навсегда.

—Потому что я так решила. Потому что я так чувствую. Потому что большего в моей жизни скорее всего, уже не будет. А меньшего — я не хочу.

Всё. Приговор вынесен. Обжалованию не подлежит. Мой план, мой цинизм, мой «пункт три», моя солдатская броня, мои стены и рвы — всё это рассыпалось в прах под простыми, бесхитростными словами маленького рыжего мышонка. И я подумал, глядя на её упрямый подбородок и горящие решимостью глаза: «И кто из нас здесь воин, девочка? Ты, храбрая до безумия, до святости или до глупости? Или я, центурион Седьмого Клавдиева, прошедший сквозь пекло десяти кампаний и капитулировавший перед твоей силой за один вечер?»

Нет. Не так.

Я был и остаюсь воином. Но сегодня мой центурион — ты. Ты взяла на себя командование. И ты уже отдала приказ. Осталось только его выполнить.

Я отпил последний глоток вина. Не для смелости. Для устранения сухости в горле. Поставил чашу. Звякнуло глухо, как похоронный колокол по моей прежней жизни.

— Осматривай, — сказал я, и голос прозвучал приказом, отданным самому себе.

Встал. Отвернулся от неё, к кровати. Пальцы нашли завязки на плечах новой туники — той самой, купленной благодаря ей. Дёрнул. Ткань, грубая и ещё чужая, соскользнула с плеч, упала на пол у моих ног бесформенной тёмной кучей. Я не стал её поднимать. Пусть лежит. Как брошенный щит.

Сел на край кровати. Спина прямая, плечи расправлены, руки на коленях ладонями вниз. Поза подсудимого. Или пациента. Разницы уже не было.

Я слышал её шаги. Лёгкие, поспешные. Слышал, как она плещет водой в тазу. Как трёт руки одна о другую с каким-то настойчивым, почти ритуальным усердием. Потом — шорох льняного полотенца. Я смотрел в стену перед собой, на трещину в штукатурке, и видел её отражение в своём воображении: склонившуюся над тазом, с влажными, розовыми от трения руками. «Среди всех женщин не было ни одной такой. Ни одной, кто бы мыл руки перед тем, как прикоснуться ко мне. Как перед операцией. Как перед жертвоприношением».

Шаги приблизились. Остановилась.

Я почувствовал её тепло, прежде чем увидел. Она встала прямо передо мной, между моих расставленных колен. Мой взгляд уткнулся в простой, поношенный хитон на уровне её бёдер. Ткань была тонкой, выстиранной до мягкости. Я видел, как она колышется в такт её дыханию — частому, неровному. Видел очертания её тела под одеждой: крепкие бедра, линию талии, смутный изгиб низа живота. От неё исходил жар. Не палящий, а плотный, живой, как дыхание спящего зверя. И запах. Чистая кожа. Сушёная мята. И что-то ещё, сладковатое и неуловимое, чисто женское, от чего у меня свело живот.

Она медленно подняла руки. Я замер. Её пальцы, всё ещё прохладные и влажные, коснулись моих висков. Легко. Нежно. Отодвинули пряди волос. Это не было частью осмотра. Это был жест утешения? Приручения? Я закрыл глаза. Внутри всё сжалось в тугую ком. «Мышонок. Глупый, храбрый мышонок. Ты гладишь волка по голове. Ты не знаешь, что у волка зубы уже обнажены. Или знаешь? И это твой выбор?»

Пальцы спустились ниже. К шраму на скуле. Их прикосновение стало твёрже, профессиональнее.

—Зажило хорошо, — проговорила она тихо, её голос был прямо над моим ухом. — Кто шил?

—Медик Пятого Македонского. Пьяница, но руки золотые. Её пальцы скользнули к ключице, нащупали ещё один, мелкий шрамик

—А это?

—Стрела. Скифская. Сквозная. Неопасно.

Она обошла меня, встала сзади. Её дыхание теперь касалось моего затылка, шеи. Каждое её слово было тёплым облачком на моей коже.

—А здесь? — Пальцы уперлись в старый след от германской секиры на ребрах.

—Секира. Чуть печень не задела.

Я сидел, застывший, пока её руки, лёгкие и уверенные, читали моё тело, как свиток. Каждое прикосновение было одновременно диагнозом и лаской. Каждый шрам — историей, которую она теперь узнавала. Это было невыносимо интимно. Гораздо интимнее, чем если бы она просто сняла одежду. Она снимала с меня годы, слой за слоем, обнажая не кожу, а ту боль и ту пустоту, что копились под ней. Я чувствовал, как по спине, под её пальцами, бегут мурашки. Как всё моё существо сосредоточилось на этих точечных прикосновениях.

И посреди этой тишины, разорванной только её редкими вопросами и моими односложными ответами, во мне что-то перевернулось. Мне нужно было сказать что-то. Взять под контроль этот стремительный поток, в котором я тонул.

— Анастасия

Она замерла. Пальцы остановились на моей лопатке.

—Это слишком длинно для поля боя. Для лагеря. — Я повернул голову, чтобы видеть её вполоборота. Её профиль, опущенные ресницы, губы, сжатые в тонкую линию концентрации. — Как тебя зовёт отец?

Она не сразу ответила. Её взгляд был прикован к моей спине, но я видел, как дрогнули её ресницы.

—Так же.

Один вздох. И всё. Я повернулся к ней полностью, медленно, давая ей время отступить. Она не отступила. Теперь мы смотрели друг на друга. Я — сидя, она — стоя. Её глаза были огромными, тёмными, и в них я читал всё тот же вопросительный ужас и решимость.

—Наста, — произнёс я. Имя сорвалось с губ коротко, твёрдо, как удар печати на воске. — Я буду звать тебя так. По-римски. Это короче. Ближе.

Я сделал паузу. Это был не вопрос. Это был ультиматум. Признание. Присвоение. «Ты — моя Наста. Отныне и до конца, каким бы он ни был».

—Согласна?

Она смотрела на меня. На моё обнажённое по пояс тело, на шрамы, на лицо, которое, я знал, было сейчас жёстким и требовательным. И кивнула. Один раз. Чётко.

—Да.

Это было всё. Слово «да» с её губ прозвучало тише шепота, но для меня оно грохнуло, как обрушение свода. Последний барьер рухнул.

Я поднял руку. Медленно, чтобы не спугнуть. Коснулся её лица. Убрал с виска ту самую непослушную прядь медно-рыжих волос, заправил её за маленькое, аккуратное ухо. Кожа под моими пальцами была горячей, невероятно нежной. Она зажмурилась, прикрыв глаза, но не отстранилась. Её губы приоткрылись в коротком, беззвучном вздохе.

Я не стал ждать. Не стал спрашивать разрешения на то, что уже было даровано. Просто притянул её к себе и прикоснулся губами к её виску, там, где бился быстрый, как птичка, пульс. Она вздрогнула всем телом. Потом я поцеловал уголок её глаза, почувствовав влажность ресниц и тонкую, почти детскую кожу века. Она издала тихий, сдавленный звук — не протеста, а потрясения.

Мои губы скользнули по её скуле к щеке. Она пахла страхом, решимостью и той самой сладостью, что сводила меня с ума. Я целовал её медленно, методично, как изучают местность перед атакой. Касался, отступал, снова касался. И всё это время держал её лицо в своих руках, ощущая под ладонями её жар, её лёгкую дрожь.

И тогда она сама сделала движение. Неуклюжее, робкое. Она повернула голову, и её губы, мягкие, неуверенные, нашли мои.

Первый, поцелуй, пробный, робкий...

Не было страсти. Не было жадности. Был вопрос. Изучение. Мои губы были твёрдыми, привыкшими сжиматься от боли и гнева. Её — податливыми, дрожащими. Я не давил. Я позволил. Позволил ей ощутить, попробовать, испугаться. И когда она не отпрянула, а, наоборот, её руки неуверенно поднялись и легли на мои плечи, я понял — она сдалась. Не врагу. Мне. Поцелуй углубился сам собой. Мои руки соскользнули с её лица на шею, ощутили тонкость костей под кожей, потом опустились на её плечи, притягивая её ближе. Она пошатнулась и оказалась у меня на коленях, невесомая в своей внезапной незащитности. Её хитон был единственной преградой между её телом и моей обнажённой кожей. Жар от неё прожигал меня насквозь.

Я оторвался от её губ, чтобы перевести дыхание. Уткнулся лицом в её шею, в ту самую впадинку у ключицы, и просто дышал. Вдыхал её запах. Чувствовал, как бьётся её сердце — часто, бешено, как у раненой лани, которую вот-вот настигнут собаки.

Ритуал осмотра был окончен. Началось нечто иное. Что-то, в чём я был уже не пациентом, а кем? Завоевателем? Участником? Сообщником?

Я знал одно: обратной дороги от её губ, от её имени «Наста», от этого жара на моих коленях — больше не существовало.

Мои пальцы нашли завязки на её плечах. Те же пальцы, что натягивали тетиву, что сжимали рукоять меча, что ломали хребты врагам. Сейчас они были слепыми, неуклюжими тварями. Они дрожали. Я чувствовал эту предательскую мелкую дрожь и ненавидел себя за неё. Тише. Ты не на поле боя. Это не добыча.

Шершавая подушечка большого пальца скользнула по узелку льняного шнурка. Не дёрнул. Разжал. Позволил узлу распуститься самому, под тяжестью ткани и моего ожидания. Левая завязка. Правая. Ткань, потеряв опору, сползла с её плеч тихим шуршащим вздохом.

Обнажились ключицы. Хрупкие, как молодые весенние ветви, выточенные под тонкой кожей. Потом — верх груди. Не мрамор. Не идеальная линия, как у статуй в домах богачей. Это было иное. Это была плоть. Живая. Дышащая. Я видел, как под кожей, усыпанной веснушками — золотой пылью, — проступают рёбра, когда она делает короткий, прерывистый вдох. Видел лёгкую, естественную линию начала груди. Не подчёркнутую разными модными ухищрениями, не выставленную напоказ. Просто её. Реальную. И от этой реальности у меня перехватило дыхание.

Я не сорвал хитон. Я провёл ладонями от её плеч вниз, по бокам, ощущая под своими шрамами её горячую, гладкую кожу. Ткань послушно пошла вниз, обнажая живот — плоский, с твёрдыми мышцами, чуть втянутый от напряжения. Пупок. Линию талии. И наконец, упругие, округлые бёдра — те самые, что я видел под мокрой тканью на рынке и которые сводили меня с ума. Теперь они были передо мной. Совершенные в своей простой, живой мощи.

Хитон упал к её ногам бесформенной грудой. Она стояла передо мной. Вся. Невинность и сила в одном флаконе. Мои руки легли на её бёдра. Кожа под ладонями была тёплой, почти горячей, и невероятно нежной. Но под этим бархатом я чувствовал твёрдые, упругие мышцы. Контраст сводил с ума. Она дрожала. Мелкой, частой, неконтролируемой дрожью, которая передавалась моим рукам, пробегала по моим предплечьям и ударяла прямо в солнечное сплетение, смешиваясь там с огненным шаром желания и какой-то новой, щемящей болью.

Я заставил себя поднять глаза. Она стояла с закрытыми глазами, губы сжаты в белую от напряжения полоску. Старый, знакомый рефлекс: «Бойтся. Покорилась. Делай, что должен». Но я не мог. Потому что это была не правда.

И тогда её веки дрогнули и медленно поднялись.

Она смотрела на меня. Прямо. В упор. В её огромных, тёмных глазах не было страха рабыни. Была решимость. Та самая, что была на рынке. Решимость воина, вступающего в бой, исход которого неизвестен. Она не отводила взгляд. Она принимала мой. И в этот миг я всё понял. Всё, что было до этого — походные девки, их притворные стоны, их пустые глаза — было пародией. Подделкой. А это Это было выбором. И она выбрала меня. В этот миг, стоя нагой и дрожащей, она обладала большей властью, чем любой легат с его легионами. И эта власть сокрушала меня.

Я не сказал ни слова. Мне нечего было сказать. Действия были единственным языком, который мы сейчас понимали. Я поднял её. Она была лёгкой, но не невесомой — в её теле чувствовалась живая, реальная тяжесть. Я уложил её на простое шерстяное покрывало. Оно пахло солнцем и полынью. Я лег рядом, опершись на локоть, и продолжил смотреть. Моя рука, будто сама по себе, легла ей на живот. Мышцы под моей ладонью напряглись, стали твёрдыми. Я почувствовал пульсацию где-то глубоко внутри неё. Я наклонился и поцеловал то место, где только что лежала моя рука. Её кожа на вкус была солоноватой и чистой. Она вздрогнула, и из её горла вырвался тихий, сдавленный звук.

Потом моя рука двинулась ниже. По внутренней стороне её бедра. Кожа там была самой нежной, какой я только касался. И самой горячей. Я почувствовал её готовность, влажную и жгучую. И почувствовал, как её тело инстинктивно, в панике, сжалось, пытаясь закрыться. Это был последний рубеж. И её, и мой.

Я поднялся над ней, приняв весь свой вес на руки и колени, чтобы не раздавить. Наше лица оказались на расстоянии ребра ладони друг от друга. Её дыхание, частое и прерывистое, обжигало мои губы. Я наклонился к самому её уху. Мой голос, когда я заговорил, был хриплым, чужим, сдавленным тисками желания и той новой, страшной ответственности.

— Наста, — прошептал я, и её имя в шепоте звучало как самая сокровенная присяга. — Не бойся. Я всё контролирую.

Я сказал это ей. И я поклялся в этом самому себе. Это была не ложь для успокоения. Это была клятва на крови.

---Я не причиню тебе вреда. Я не буду тем, кем был всегда.

И тогда я пересёк последнюю черту.

Медленно. Медленнее, чем я думал, что способен. Каждая мышца в моём теле кричала от невыносимого напряжения сдерживания. Я чувствовал сопротивление. Её тело приняло меня, но приняло как крепость принимает штурмовой таран — сжавшись, оказав последнее, отчаянное противодействие. Это была тугая, обжигающе горячая граница между её миром и моим.

Я увидел, как её губы сжались. Она впиалась зубами в нижнюю, чтобы не вскрикнуть. Глаза её были широко открыты, в них стояли слёзы, но они не катились — она сдерживала и их, превращая всю себя в единый, беззвучный крик. Она не кричала. Не для того, чтобы не спугнуть меня. Чтобы не выдать нас. Соседям, городу, всему этому проклятому Риму. В этот миг что-то во мне переломилось окончательно. Желание, ярость, страсть — всё это окрасилось в новый цвет. Цвет яростного, невероятного уважения. Она защищает нас. Даже сейчас.

И мы начали наш немой диалог. Не в привычном, грубом, животном ритме. Я двигался, как слепой, нащупывающий путь в полной тьме, откликаясь на её призыв. Каждое движение вперёд — вопрос. Каждая её ответная, робкая, произвольная подача телом навстречу — шёпот ответа. Я не отрывал от неё взгляда. Ловил каждый её вздох, каждое изменение в глубине её глаз. Мои руки — одна — под её головой, другая — на её груди, чувствуя бешенный стук сердца. Они не сжимали, а просто держали. Я целовал её плечо, соль на её шее, подступающие слёзы в уголках её глаз. Это не было просто соединением тел. Это был разговор. Самый глубокий и самый правдивый из всех, что я вёл в жизни.

И когда волна, наконец, накатила, она застала меня врасплох. Это было не просто привычное облегчение. Это было нечто гораздо большее. Разряд, который шёл не из одного места

на теле, а изо всего меня сразу. Из груди, из живота, из самых потаённых уголков души, которые я считал мёртвыми. Это было не концом, а взрывным, ослепительным началом. Это заливало лавиной. Слепящей, оглушительной полнотой. Я прижался к ней, зарылся лицом в её рыжие волосы, теперь пропахшие нашим общим потом, и сдержал собственный стон в её горячей, влажной шее. Мир сжался до размеров этого ложа, до стука наших сердец, бьющихся в диком, нестройном, но отчаянно пытающемся слиться воедино ритме.

Я не отпрянул сразу. Я оставался в ней, чувствуя, как её тело подо мной постепенно, очень медленно, перестаёт дрожать и обмякает, как будто с неё сняли невыносимую тяжесть. Только тогда я осторожно приподнялся и рухнул рядом на спину, глядя в потолок, в трещины на штукатурке, которые вдруг показались мне линиями на карте неизведанной земли.

Тишина. Глухая, оглушительная, после шума в собственной крови. Моя рука, будто сама, нашла её руку. Маленькую, влажную. Я сжал её. Она ответила слабым, едва уловимым пожатием.

И мысль пришла ко мне не в словах, а в физическом ощущении, как новый шрам, который будет болеть всегда. Это было не взятие крепости. Это была благодать. И я уже никогда не смогу быть тем, кем был час назад.

Я повернул голову. Она лежала с закрытыми глазами, но не спала. На её ресницах блестели высохшие следы слёз. А на губах, припухших от поцелуев и укусов, играла лёгкая, почти неуловимая тень улыбки. Или мне так хотелось верить.

Я не спросил, хорошо ли ей. Не спросил, что она чувствует. Слова прозвучали бы глупо. Они разрушили бы эту новую, хрупкую, невероятную тишину между нами.

Я просто смотрел на неё. И впервые за много-много лет чувствовал после близости не пустоту и отвращение, а странный, тревожный, непрочный и самый желанный на свете покой.

Это был не конец. Это было начало чего-то, что не имело названия на языке римских легионеров.

Я не спал.

Её дыхание было тихим, ровным, будто она спала. Но я знал — она не спала. Мы оба лежали в темноте, притворяясь, чтобы не нарушать хрупкое перемирие, которое наступило после бури. Я слушал этот звук. И пытался понять сквозь кожу, сквозь тепло её спины, прижатой ко мне — что она чувствует? Облегчение? Ужас? Раскаяние?

Мой мозг, вышколенный годами, раскладывал по полкам безжалостную правду. Жениться? Сейчас это невозможно. Не потому, что не хочу. Я — Марк Кассий Витул, сын солдата, сам солдат. Пока я на службе в легионе, официально я это сделать не могу. К тому же ни рода, ни состояния. Она — Анастасия, дочь иноземного врача, peregrinus. Ни гражданства, ни приданого. Закон видел бы в нашем союзе не брак, а concubinage — сожительство. Для римской гражданки это не было бы сильным унижением — многие жили в таком положении, ожидая окончания службы. Но для неё, peregrina, в лице которой явно читались восточные черты, это могло быть унижением. А для меня допустить её унижение — слабость, недостойная война.

Боль от этой мысли была острой и чистой. Не вина. Вина — для мальчишек, укравших яблоки. Во мне ворочалось нечто иное, тяжёлое и незнакомое. Ответственность. Я взял на себя то, что не мог просто бросить наутро, как пустую винную чашу. Я вступил на территорию, где мои мечи и доспехи были бесполезны.

— Я уйду на рассвете, — сказал я в темноту, голос мой прозвучал хрипло, но чётко. — Мой легион стоит на Дунае. Там пахнет войной. Даками.

Она не ответила. Только её дыхание на миг сбилось.

— Я вернусь, — сказал я, и слова повисли в воздухе, как дым. — При первой возможности. Буду прорываться, если придётся. Это не пустые слова. Это условие выживания. Теперь.

Она перевернулась. В слабом свете, пробивавшемся из окна, я видел её лицо. Она смотрела на меня не испуганно, а с той же ясностью, что и вчера

—Отец... — начала она.

—Я поговорю с ним, — перебил я. — Когда вернусь. Мужчина с мужчиной. Он имеет право знать, что его дочь под защитой.

При слове «отец» её лицо дрогнуло, напряглось. Она кивнула, сжав губы.

Рассвет прокрадывался в комнату серыми, холодными пальцами. Она встала, чтобы одеться. Простой хитон скользнул по её телу, и тогда я увидел. На кожаном шнурке у неё на шее болтался не кулон и не амулет, а маленькая, грубой работы глиняная пластинка. На ней был выцарапан знак: две изогнутые линии, встречающиеся в одной точке, как дороги, или как рыба.

Я поднял её взгляд.

— Что это?

Она коснулась пластинки пальцами, будто ища защиты. —Это ихтис. Рыба. Знак моей веры. Я христианка, Марк.

Тишина. Точно, она же говорила еще до Хоть и робко, намёками. Просто тогда мои мысли были в другом направлении Я знал об этих людях. О сектантах, почитающих распятого преступника. Для Домициана они были удобными, слабыми врагами. В голове пронеслись обрывки знаний: они не чтут изображения кесаря, тайно собираются по пещерам и катакомбам, едят плоть и пьют кровь Опасность. Для неё — смертельная опасность.

Я посмотрел на её прямое, спокойное лицо. На пластинку. На неё.

—Мне всё равно, — сказал я тихо, но так, чтобы каждое слово врезалось. — Пусть твой Бог хранит тебя. Лишь бы он это делал.

В её глазах что-то дрогнуло — удивление, благодарность, что-то ещё.

Она не ждала такого ответа.

—А твои боги? — спросила она.

—Мои боги видят мою клятву, — ответил я. — Этого достаточно. Теперь слушай.

Я подошёл к окну, ткнул пальцем на грязную стену дома напротив, в тени переулка.

—Видишь тот камень, третий снизу? Если я в Риме и могу прорваться к тебе — я нарисую на нём знак. Две линии. Параллельные. Как легионерская дорога. И одну поперёк. Как мой путь к ним. Увидишь — жди с наступлением темноты.

Она кивнула, запоминая. Потом я подошёл к её столу. Там лежали её вещи: склянки, свёртки, и — деревянная двойная табличка для записей сегоае, скреплённая кожаной петлёй. Я взял её в руки. Две дощечки, тонкие, отполированные пальцами. Одна с выемкой для воска, другая — гладкая, обратная.

Я разомкнул петлю. Разделил дощечки. Две половинки. Больше не книга.

Я протянул ей ту, что с воском. —Твоя. Пиши на ней свои мысли. Рецепты. Всё, что захочешь. Чтобы не забыла.

Вторую, гладкую дощечку, я поднёс к груди. Сорвал с туники кожаный шнурок, на котором носил легионный свинцовый значок. Надел на него дощечку. Спрятал под тунику, на голую кожу. Дерево было холодным.

—Моя. Чтобы чувствовал.

Я взял её лицо в свои руки, большие, грубые, покрытые шрамами. Не целовал. Я прижал свою половину дощечки сначала ко своему

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.